

18+

*Ольга Покровская*

# *Заветная вода*



Ольга Покровская

**Заветная вода**

«Издательские решения»

**Покровская О. В.**

Заветная вода / О. В. Покровская — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-982216-1

Июнь 1941 года. Главный герой возвращается в Москву с маленького полустанка под Красноярском, где его застало известие о начале войны.

ISBN 978-5-44-982216-1

© Покровская О. В.  
© Издательские решения

# Заветная вода

## Ольга Владимировна Покровская

© Ольга Владимировна Покровская, 2020

ISBN 978-5-4498-2216-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Всю дорогу от Москвы в купе скорого иркутского поезда он чувствовал себя больным, и с каждым километром, с каждой пролетавшей мимо станцией ему делалось хуже и хуже. Ему, Петру Дьяконову – без пяти минут кандидату наук, – оставалось чуть-чуть до последнего скачка к рубежу, за которым его именовали бы Петром Венедиктовичем, и в преддверии защиты диссертации он с таким усердием рвался к необходимой повинности перед окончательным торжеством – к байкальской научной станции, – что из последних сил терпел недуг, который вгрызался в нутро, переворачивал кишки, изводил ночными кошмарами. Петр, преодолевая боль и дурноту, винил в мучениях пирожок с требухой, купленный в вокзальном ларьке, и прилежно пил розовый марганцевый раствор, пока его, почти при последнем издыхании, не сняли с поезда посреди тайги, за Красноярском – на полустанке, где, как выяснил по радио начальник поезда, была поселковая больница и где легкомысленному пассажиру без долгих разбирательств вырезали аппендикс, накачали сульфаниламидами и уложили на койку в одиночестве среди большой и пустой, пахнувшей сосновыми досками палаты.

Стояли июньские дни. По утрам за окном кричали петухи, мычало стадо, месившее копытами дорогу, гудели моторы леспромхозовских грузовиков, чистыми присвистами заливались птицы – а к вечеру больница погружалась в тишину, и только слышно было, как тяжелыми вздохами пучит тайгу, со всех сторон окружавшую неприметную точку на карте, и как стучат колеса поездов, которые идут по Транссибу – то с запада на восток, то с востока на запад. Огромная страна, нахрапом наступающая на сибирские пространства, оставалась далеко – там, где жерлами вулканов бурлили города и пузырями газа надувались стройки. К аромату сосновой смолы добавлялись запахи то карболки, то хлористой извести, которой санитарка Катя натирала крашеный пол, то медвяных цветов из палисадника, то камфарного настоя, которым медсестра Фая обрызгивала помещение, отгоняя комаров и мошек. То в окно задувало шпальной пропиткой – от бурых штабелей, уложенных вдоль железнодорожных путей. То, ночами, в остывший воздух проникал горький полынный дух незнакомых трав с привкусом угольного дыма и железа.

Петр так стоически боролся с немощью, стремясь к вожденной цели, что, когда пропал адреналиновый запал, его тело отозвалось на опасное легкомыслие жаром, лихорадкой, горячечным бредом, в итоге – перитонитом. Он метался по койке, сбросив одеяло, и в голове кружились назойливые сны: начисто – до стекольного скрипа – вымытые окна московской наркоматской квартиры, требовательные гримасы тестя-ответработника и его мешковатый костюм, озорная жена Лена в платье цвета топленого молока, яичный желток косынки на ее светлых волосах, скользкая улыбка и уверенные светло-карие глаза, которые, кажется, знают о жизни все. Потом бредовые галлюцинации растаяли, и Петр обнаружил перед глазами заросшую рожу, которая скалила над больным гнилые зубы. Загорелая физиономия любопытствующего незнакомца была какая-то разномастная: кудлатые, переливистые – от ржавчины до прелой соломы – волосы торчали во все стороны, а брови, ресницы и даже глаза играли оттенками замысловатой палитры, которая еле постигалась полусонным Петровым сознанием.

– Ну-ну. Не дури. Болит сильно? Терпи... – С этими словами незнакомец убедился, что его хворый собрат пришел в себя, сел на соседнюю кровать и пробурчал: – И у меня болит...

Помолчав немного и покачав у растерзанного ворота больничной рубахи забинтованной кистью с йодистым пятном, он глубокомысленно добавил:

– Лена-то кто? Жена, что ли? Да, без жены нельзя...

Так в пустующей палате появился второй обитатель, которого все называли Николаичем. С ним явились раздражающие запахи немытого тела и вонючего самосада. В простоте душевной Николаич попробовал было смолить, не слезая с койки, но Фая, застав его на месте преступления, взмахнула руками и воскликнула:

– Имейте совесть! Это больница все-таки... марш на крыльцо!

Николаич, припадая почему-то на ногу, поковылял в коридор, а стройная, облитая белоснежным халатом Фая объяснила, понизив голос:

– Это Катин муж. Он палец топором отрубил. – Потом медсестра обернулась, выпучила взволнованные глаза и сообщила полусшепотом: – Говорят, он сам себя... мизинец. Катя ушла от него, а он нарочно... чтобы к ней сюда. Чтобы пожалела...

– Топор... – пробормотал Петр, безотчетно следя, как бегут к конусу стеклянного шприца крупинки воздуха и как взмывает из иглы струя лекарственного раствора. – Раскольников какой-то...

Топор, который поразил безрассудную жертву супружеской привязанности, невольно присоединился к его бредовым видениям. В ночной круговорот снов, где сменялись знакомые картины – мрачного дома, старых часов из кипарисового, изъязвленного старческими пятнами, дерева, легкомысленной Лены, – теперь вклинился пудовый, в кровавых рябинах топор, широкий замах которого сопровождался в больной голове ревом богатырского Николаичевого храпа. Замызганная, грубая, замотанная тряпьем Катерина представлялась теперь Петру в ореоле роковой женщины, пробуждающей гибельные страсти среди медвежьего, богом забытого логова. Утром она, как обычно, скребла мешковиной пружинящие доски пола и, поджимая губы, отворачивалась от кроткого мужа, который молча восседал на сбитой простыне больничной койки. Потом, когда она выволокла из палаты ведро и хлопнула дверь, Петр услышал из коридора ее злобный голос:

– Нет и нет! Здесь я человек, мне деньги платят, я на них что хочешь куплю!..

Николаич молча вздохнул, прикинувшись, что Катеринины слова его не трогают. Разноцветный человек держался так спокойно, что Петр списал предположения о самовредительстве на счет девической фантазии восторженной Фаи, которая увлекалась книжными драмами, скучая в тихом захолустье.

– Как же ты... – пробормотал он, выходя из воспаленной пурги, которая заметала его причудливые мысли. – Без пальца...

Николаич вздохнул.

– Без пальца можно прожить, – протянул он, кривясь в ухмылке. – Без жены нельзя. Дура... я без пальца, а она с этим щелоком без рук останется... и куда?..

Петр, мысленно соглашаясь с жертвой семейственного фанатизма, провалился в сонную сумятицу, и, когда он очнулся, был уже вечер. Янтарный свет заката заливал чистую, вылизанную Катинными трудами палату, а сама Катерина с подоткнутыми, как для работы, юбками, стояла напротив Николаича и слушала своего чудного мужа, склонив голову. Тот, плавно помахая марлевой клешней, словно дирижер, что-то тихо и гладко выговаривал беглой жене. Их нескладная пара токовала, забыв про все на свете и лучась таким самозабвением, что Петр невольно залюбовался этой поэтической сценой, которая утишала его взбудораженные бредом чувства. Он не разбирал, что говорил Николаич, но рокочущий, бархатный басок добровольного калеки звучал для него, словно колыбельная. Петр задумался и забыл про время. Потом Катерина очнулась, опустила подол засаленной тряпичной юбки и ушла.

На другой день Николаич выписался из больницы. Он сбросил чистое казенное белье и облачился в широкую холщовую рубаху, которая оказалась такой же пегой, как ее владелец: с разводами и слоями пота и пыли, въевшимися намертво в домотканое полотно. Сконфуженную, прячущую глаза Катю больничное начальство нехотя отпускало с супругом. Тот, держа здоровой рукой Катеринин узелок, помахал Петру на прощание обмоткой и сказал:

– Я свои дела устроил, а вы уж сами – как знаете...

Он выставял, как щит, пораненную руку, головой кивал на Катю, и Петр не понимал, что он подразумевает, говоря, что устроил жизнь: жену, возвращенную столь героическим способом, – или отнятый палец.

– Здоровья вам, – проговорила, блестя наэлектризованными глазами, прихорошенная Катя, которая как никогда отталкивала Петра, считавшего, что бывшая уборщица не стоила подобных подвигов.

– Я не здоровья, – добавил Николаич. – А везения. Теперь лучше, чтобы всем везло.

К вечеру Петру стало легче, прошла лихорадка, температура упала, и радость начинающегося выздоровления потянула его встать наконец с постели. Он неловко, опасаясь за рану, с которой еще не сняли швы, поднялся и затопал по пустой палате. Ему показалось, что вокруг странно, неестественно тихо – только жужжала в углу назойливая, сбесившаяся от наркоза дезинфицирующих растворов муха. Одиночество, о котором он мечтал, воротя нос от странного существа, оказалось гнетущим. Печальный золотистый свет ложился на беленые стены. Петр медленно, собирая силы на каждый шаг, от которого чуть поскрипывали под ногой деревянные половицы, потащился в коридор. Придерживая порезанный бок, он приковывался к закрытой двери, за которой долдонило радио. Потом кто-то громко, с ужасом ойкнул, и Петр разобрал короткий всхлип, а за ним – плач. Дверь распахнулась, навстречу вылетела, закрыв лицо ладонями, потрясенная Фая, и непрошенный свидетель увидел, как оторопело зависла над столом с развалами больничных бумаг седая, прямая, как палка, Анна Филипповна.

– Слышали, Петя? – проговорила Анна Филипповна, и его испугало ее известковое, белое, как халат, лицо. – Война!..

Но через минуту она, настоящий врач, совладала с собой.

– Почему встали? Ложитесь!..

Фая куда-то сбегала, умылась и, шмыгая носом, явилась успокаивать больного, чтобы новость не возбудила его в ущерб некрепкому здоровью.

– Сволочи, фашисты, – выговаривала она дрожащими губками. – Но мы их разобьем... это ненадолго. Вы, может, и поправиться толком не успеете, а все закончится.

Петр скептически качал головой, хотя ему, загипнотизированному этой пейзажной тишиной, не верилось, что безмятежная глушь может втянуться в мясорубку, которая завертелась на западных границах, и что где-то уже стреляют, рвутся бомбы и горит земля. Он только понимал, что вместо желанной работы на байкальской станции ему придется возвращаться обратно, к семье, к Лене, и что ненавистный враг напал не только на родину, но и на его личные планы и чаяния.

Но все же, томясь временным пленником в бревенчатых стенах больницы, таящейся, в свою очередь, в гуще необозримых лесов, в глухом краю, откуда до баталий были сотни и тысячи километров, он сразу понял – учуял, что традиционный уклад изменился даже здесь. Через день весь поселок провожал мобилизованных, и от станции доносился бестолковый гомон, рвавший душу: там голосили, причитали, выкрикивали речи и терзали скверную гармошку, вымучивая строевой марш, который все равно отдавал плясовыми переливами. Потом наступила долгая тишина, которую раскалывал молоточный грохот военных эшелонов, и Петр без ошибок отличал его от убаюкивающего перестука пассажирских поездов. Никто не понимал, что происходит на зловещем западе, – Петр вместе с персоналом, который заметно поредел из-за Николаичева вмешательства, исправно выслушивал информационные сводки,

но ему не доставало кирпичиков, чтобы сложить ясную картину, и даже не исхитрился вытащить из формальных фраз какую-нибудь понятную ему смысловую деталь, которую мог бы потом обсудить со своими няньками. Главное командование сообщало об отбитых атаках противника, об уничтоженных вражеских самолетах, о сгоревших танках, и после каждой передачи обмирающая Фая, восстанавливая пресекшееся от беспокойства дыхание, говорила:

– Пойду тоже! Я военнообязанная... – и потом, поправляя накрахмаленный колпак, добавляла: – Наверное, не успею... пока доберусь, разобьют уже фашистов.

Анна Филипповна недоверчиво качала седой головой со снежным, жидковатым пучком на затылке, кое-как свитым на скорую руку.

– Не все так просто, – говорила она.

Но все Петровы попытки выбраться из-под медицинского надзора Анна Филипповна отказывалась обсуждать всерьез.

– Петя, вас снимут по дороге с поезда, – говорила она, поджимая губы. – Будет вам плохо, и снимут. Думаете, лучше станет?..

Днем окружающие занимались служебными обязанностями, и Петр развлекался, приглядываясь к пациентам, которые приходили в больницу с соседних станций и с далеких заимок. Но вязкая вечерняя скука, когда он оставался единственным больничным обитателем, продлилась недолго: как-то у дверей тормознул леспромхозовский грузовик и на крыльце засуетились. Приковыляв к окну, Петр услышал незнакомый испуганный голосок:

– Отдайте, фляжка!.. Там фляжка... и деньги на билет...

– Никто твое барахло не трогает, – проревел убедительный бас. – Вцепился, как черт в грешную душу... перебирай ногами-то!

Анна Филипповна с Фаей заметались, захлопали двери, грузовик уехал, а Петр терпеливо гадал, придется ли ему сегодня ночевать в одиночестве или невезучий горемыка осядет на койке, на которой Фая после Николаичева ухода застелила свежее белье и тщательно взбила увесистую перьевую подушку.

Он так соскучился без компании, что был безмерно рад, когда женщины ввели в палату нового пациента. В свободной руке Фая несла сиротскую котомку, на которую больной, дергая, как дятел, замотанной головой, постоянно оглядывался. Не успели его усадить на чистую простыню, как он хваткими, словно сведенными судорогой пальцами потянулся к веревочной завязке.

– Никто не тронет твое имущество, – с обидой проговорила Анна Филипповна, но пришелец уже нетерпеливо рвал затянутый накрепко узел.

– Фляжка и деньги. Много денег. Мне в Москву надо.

Анна Филипповна скорбно скривилась.

– Не возьмут тебя в армию до восемнадцати. Все они, глупыши, сейчас на фронт рвутся...

Пришелец презрительно фыркнул:

– Вот еще – на фронт. Больно надо.

Он, воровато таращась по сторонам, переложил небольшой сверток из котомки за пазуху просторной рубахи и только тогда утихомирился. Потом его затошнило, Фая побежала за ведром, а разочарованный Петр, уже не радуясь предполагаемому общению, которого так жаждал, уныло предвидел бессонную ночь наедине с шептунным и на первый взгляд не слишком симпатичным соседом.

– А ты в военкомат собиралась, – сказала Анна Филипповна Фае, когда больному сделалось легче и он откинулся на подушку. – Думаешь, мало здесь дел?

Пришелец окинул Фаю внимательным, но безразличным взглядом, словно разгоряченная работой девушка с растрепанными, выбившимися из-под медицинской шапочки кудрями, не заслуживала с его стороны никаких эмоций. Даже изучая бессловесную скотину, было про-

тивоестественно изображать такой холодный, без тени приязни, объективный анализ. Сделав некий вывод, больной прикрыл веки и спокойно проронил:

– На войну? Не ходи, убьют.

Это равнодушное резюме прозвучало отстраненно и не годилось ни в совет, ни в предостережение, на какие была щедра величественная Анна Филипповна. Жестокие слова предсказывали бесспорный исход, который неминуемо следовал из логики событий и не требовал добавочных доказательств. В резкой тишине повисла пауза, и уязвленная Фая передернула плечами, но потом заминку гневно переломила Анна Филипповна, которая прочла незваному прорицателю директиву о необходимости соблюдать режим.

Женщины ушли, а Петр остался рассматривать не подающего признаков жизни незнакомца, которого Анна Филипповна умильно называла Сеней, суля больному быстрое исцеление. Он уже знал, что Сеню обнаружил на берегу директор леспромхоза, который случайно остановил машину, так как ему померещилось среди водяных перекатов нечто занимательное и непозволительное – чему, по мнению дотошного хозяина окрестностей, не было места в ведомственной ему реке. Теперь найденыш с плотно забинтованной головой обездвиженным пластом, будто из него разом вышли силы, лежал на продавленном матрасе. Это был почти подросток – шуплый, с впалой безволосой грудью и худыми, не привычными к крестьянскому труду руками. На сером лице не было ни кровинки и ни следа от загара, словно пришелец всю короткую для этих мест теплую пору просидел в где-то глубоком подвале и вовсе не вылезал на солнце. Русые волосы беспорядочными прядями торчали из марлевой повязки, перемежая слои бинтов, которые щедро накрутила на его голову добросовестная Фая.

– Не вздумай воровать, – тонкими, еле шевелящимися губами проговорил Сеня, не открывая глаз. – Я чуткий... каждый шаг вижу.

Оскорбленный Петр с негодованием отвернулся от хамоватого дикаря к стене, из которой между замазанных побелкой бревен выступали вислые клочки, похожие на бороду старого берендея.

– Как я угодил, – вздохнул он. – Один с топором... другой с деньгами... капиталист нашелся.

Он уснул, мучимый кошмарами, в которых ему виделась мирная, но очень страшная жизнь. Война еще не проникла в его сознание, и химерические картины, которые он просматривал во сне, были обезличенной, абстрактной угрозой, которую немного конкретизировала разве что примесь первобытной уголовщины. Но он напрасно опасался, что ему выдастся беспокойная ночь сиделки, – Сеня спал так незаметно, что, казалось, не ворочался во сне. Он и позже, днем, не обременял кого-либо своей персоной, игнорируя не только Петра, к которому, как к горожанину, мог чувствовать сословную неприязнь, – его не занимали ни внимательная Анна Филипповна, ни даже ладная Фая, на обаяние которой, по мнению Петра, откликалась любая мужская особь, даже находящаяся в несерьезной стадии молочно-восковой спелости. Нелюдимый пациент жадно проглатывал больничные кашу и суп, после чего впадал в летаргию – мирился с перевязками, стойко переносил неумелые Фаины уколы, после чего замыкался в себе и замолкал, будто ему вырвали язык.

Когда женщины, выполнив над ним медицинские процедуры, расходились по делам, Петр чувствовал, что, пока его сосед номинально присутствует рядом, фактически витая где-то в облаках, он сам варится в вакууме, где ему не с кем перекинуться словом. Он валялся на койке без дела и весь жар общественного человека, стосковавшегося по пространным разговорам и спорам, доверял дневнику. Линованная бумага честно выдерживала сомнения и вопросы, накопленные в отрыве от привычной среды, – в то время как реальный человек из плоти и крови вряд ли снес бы такой ожесточенный натиск. Петр писал, как его тянет окунуться в гущу событий, невзирая на последствия, с которыми он мог столкнуться, вернувшись в строй. Что нарыв постоянно зреющей угрозы, когда в воздухе разлито напряжение от невидимой

агрессии, наконец прорвался, принес определенность и теперь всем понятно, что делать. Что ему жаль почти завершенной диссертации, которая срывается в последний момент, и что он стыдится этого личного, среди общего несчастья, мелкого огорчения. О фантастичности обстановки в идиллической глухомани, где не верится, что где-то гремят бои и льется кровь. О Лене и о том, что война неизбежно принесет в их семью. Полностью утонувший в забвении Сеня не реагировал на исступленный скрип кривого пера по тетрадной бумаге, как не отреагировал, когда сказитель, у которого закончились чернила, прекратил писать.

Несколько дней прошло в дурной праздности. С западной, горящей в пламени границы, приходили уклончивые сообщения, которые начинали смущать Петра своей несообразностью. В сводках еще поминалась дальняя, порубежная география, но немцы уже заняли Брест, и Петр, негодуя на этот нечаянный государственный позор, ждал, когда парадный голос сообщит, что Брест освободили. Фая принесла школьную карту, и больничные насельники, двигая пальцами по желтоватой бумаге, выискивали в перекрестье прямых линий и извилистых загогулин Гродно, Шауляй и Львов. Сеня, который избегал штабной самодеятельности, беспокоился по-своему: Петр все чаще видел его сидящим, как идол, поверх одеяла, рядом с загнутым краем матраса, который являл миру неаппетитную, в органических потеках, рогожную изнанку. Мальчик ловко чинил проволочную вязку кроватной сетки и так мастеровито залатывал прорехи, что Петр усомнился в первом впечатлении от проворных пальцев, которые показались ему не слишком крепкими.

– Зачем это?.. – спросил он, удивленный неистовством, с которым Сеня, стиснув зубы, восстанавливал больничное имущество.

– Дедушка велел, – пробормотал Сеня под нос.

– Какой дедушка? – удивился Петр, который не видел, чтобы Сеню навещал кто-либо, подходящий под эту категорию, – впрочем, Сеню вообще никто не навещал.

– Хитрый дедушка. Любит, чтобы трудно было...

И изумленный Петр узнал, что мальчиком руководит воображаемый – сереброволосый и серебробородый – дедушка-черноризец, который невидимо сопровождает своего подопечного и диктует ему прихотливые, непостижимые простым умом труды. Сопоставив эту новость с диагнозом, без сомнений определяемым Анной Филипповной как сотрясение мозга, Петр искренне пожалел несчастного мальчика, которому предстояло бросить якорь в больнице и, наверное, долго лечить помраченный разум, сильно попорченный при падении с береговой кручи.

Тем более он был удивлен, когда Анна Филипповна, чопорно пригласив его в свой обитый фанерой кабинет, чтобы выдать бумаги и прощально напутствовать на дорогу, пряча взгляд и поджимая блеклые старушечьи губы, проговорила:

– Петя, я попрошу вас об очень важном одолжении.

– Слушаю, – нахмурился Петр, предполагая по ее забавному смущению, что просьба будет обременительна.

Но того, что озвучила ему Анна Филипповна, он заранее даже не представлял и, захваченный врасплох, оказался не готов к решительному отказу.

– Видите ли, мальчик серьезно болен, – заговорила Анна Филипповна, и ее честное, решительное лицо заслуженного врача, озарилось светом такой возвышенной идеи, что у Петра заныла едва затянутая рана, обозначив место, где тлел гнойник, еще не признавший себя побежденным.

Он уже понимал, что попал как кур в ощип, и что он должен будет выполнить любое, самое невыполнимое повеление Анны Филипповны.

– У нас нет соответствующего профиля... если оставить его здесь, он будет неполноценным человеком – понимаете, Петя? Кому он такой нужен? Я прошу отвезти его в Москву, к профессору Чижову... я недавно читала статью, он занимается этими случаями.

– Подождите, – Петр не нашел сил сопротивляться и только развел руками, представив масштаб обузы, за которую ему, до конца не оклемавшемуся от осложнений, придется нести полноценную ответственность на тысячекилометровом пути, погруженном в безумие военного времени. – А если он сбежит, что делать? Он прыгнет на любой станции – где его искать? Или профессор Чижов его не примет? Или он не в Москве... уехал куда-нибудь?

– Он не прыгнет, – убежденно сказала Анна Филипповна, разя пациента наивностью провинциалки, сохранившей к преклонному возрасту все иллюзии и идеалы благородной юности. – Вы же слышали, как он бредит Москвой. Он вбил себе дурацкую идею – он никуда не денется, за вас цепляться будет. Я дам направление к профессору Чижову – как же его не примут?

– Вы уверены? – уныло промямлил пристыженный Петр, который, совестясь своего эгоизма, уже мнил себя преступником и прекрасно понимал, что человеколюбие не даст ему бессовестно бросить без поддержки жалкого Сенью, явно нуждающегося в хорошем психиатре.

– Уверена, – выпалила Анна Филипповна, сжимая губы в бесцветную линию, и Петр понял, что уверенности у нее нет. Увидев, что не обманула собеседника, она опустила мутноватые глаза и предложила, извиняясь за очевидный подлог: – Может, вам домой телеграмму послать? Завтра поедут на почту...

– Не надо, – отказался Петр. – Пошлите лучше профессору Чижову. – Поскольку Анна Филипповна так и не подняла виноватых глаз, сокрушенный Петр вывел, что телеграмму не пошлют и что профессора Чижова ему придется разыскивать в Москве самому.

Анна Филипповна вздохнула.

– Вы откуда сами, Петя? – спросила она. – Из Москвы? А родители?

– В Сызрани, – ответил Петр.

– Хорошо вам. Далеко до границы. – Она помолчала. – А у меня единственная родственница – тетька в Николаеве. Я ей сто раз предлагала – говорит, далеко... холодно у вас... вот и дожили.

Ее синеватые, слезящиеся, растерянные глаза уставились на Петра с такой тоской, что он, невольно проникаясь ее убитым настроением, бессвязно забормотал – хотя в душе не понимал, отчего волнуется эта несгибаемая женщина:

– Николаев – километров двести... туда боевые действия не дойдут.

– Думаете... – Она стиснула в кулаки дрожащие пальцы. – Хорошо бы... бог ведь что в голову лезет... Конечно, до Николаева не дойдет. Слышали же, что сказал Молотов? Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами.

Приняв поручение Анны Филипповны, Петр суеверно побоялся испытывать судьбу, начертанную ему чужими руками дорогу, с которой он теперь опасался сходить в сторону. Конечно, он держал в уме, что мифический старичок с серебряной бородой может снабдить подопечного нештатными подсказками, но вместе с тем он понимал, что другого шанса у Сени, который вел себя, в общем, вполне терпимо, может не представиться и что в крайнем случае несчастному мальчишке светит областной дурдом, если не пожизненный интернат, и что второго козыря – лечения у столичного светила – в этой партии больше не выпадет. Поэтому он без ропота согласился на экзотического попутчика. Сборы длились недолго, путешественников не обременяла лишняя кладь, но в местной кассе не было билетов на поезд, и Фая несколько раз бегала на станцию – спрашивать, увещевать, скандалить. Сердобольная повариха собирала им в дорогу все, что нашлось на кухне: хлеб, сахар и консервы, которые она опускала в дорожный мешок, укачивая каждый сверток, словно это был запеленутый младенец. Анна Филипповна торжественно, с чувством долга, строчила бумаги, которые, по ее словам, служили для посланца к медицинскому чину просто-таки бронебойным, со стопроцентной гарантией, пропуском.

На прощание добрая Фая надела на травмированную Сенину голову компрессионную шапочку, которую связала собственными руками из обрывков пряжи и случайных, попавшихся под руку ниток, и у Петра зарябило в глазах от убогой пестроты этого самопального трикотажа. Он прилежно убрал все, нелишние в условиях военного времени, бумаги в походный мешок, и через несколько минут путешественники сидели на платформе перед дощатой, с резными наличниками, избой, которая выполняла функцию вокзала. Здесь, среди открытого пространства, вне спасительных больничных стен, Петр с ужасом понял, что тепличный распорядок больницы изнежил его, порядком помятого недугом, до неприличия. Шатаясь от слабости, он опустился на лавочку, понимая, что если его подопечному взбредет в голову сбежать куда глаза глядят, то он сам не сдвинется с места. На его счастье Сеня удобно устроился на какой-то шаткой изгороди, как курица на насесте, и, казалось, не думал о побеге. Петр недоверчиво косился на спутника и глотал восхитительный воздух, благоухающий травой, душистыми цветами, болотной гнилью, сосновой смолой и дождем, который с утра оставил после себя редкие лужи и раскисшую грязь со следами тяжеловесных шин. Радость свободы пьянила его; он тоскливо представлял, что вот-вот заберется в тесную коробку, которая унесет его далеко от первозданных мест – в сторону заката, туда, где обезумевшие враги вгрызались в периметр государственной границы, от дунайской дельты до клайпедской косы.

Поезд опаздывал. За забором уныло позванивала собачья цепь. Мимо, оглушая пассажиров душераздирающими гудками и обдавая теплым ветром с запахами железа, угля и механической смазки, пролетали военные эшелоны, к которым выходил с желтым флагом бородастый дед в фуражке и в потертой форменной куртке с ободранными обшлагами.

– Не знаю, ждите. Придет, рано или поздно, – топорща усы, ответил он на нервный вопрос, когда же будет поезд. Потом пожаловался: – Весь хлеб в магазине раскупили. Дуры – бабы... на всю войну не напасешься.

Уныние сутулой фигуры, пронзительный взгляд старческих глаз над морщинистыми щеками, тяжелый вздох «на всю войну» – все это ранило слушателя такой безнадегой, что у Петра, уверенного, что война вот-вот закончится, на душе заскребли кошки, и он содрогнулся, вообразив, что бедствие продлится долго.

Стемнело, наступила ночь, поезда все не было. Разглядывая крупные, с кулак, белые звезды в глубоком, как колодец, таежном небе, Петр молча боролся с острым диссонансом, который не давал ему покоя. Он не мог совместить в одном мире космическое звездное небо, спокойствие дышащей во сне тайги, мирные избышки со светлыми окнами, всеохватную тишину – и то бесчеловечное и противоестественное, что творилось сейчас на западе, там, куда один за другим тянулись груженные составы с укутанными, словно в саван, и пугающими его, невоенного человека, конструкциями. Недоумение, с которым он пытался постичь несовместные вещи, усиливала мысленная зарубка – радио на площади возвестило сегодня, что военные действия ведутся на минском направлении. Петра насторожило, что еще вчера фронтовые сводки говорили о Бресте, а сегодня география сместилась на триста километров вглубь территории, и он уговаривал себя, что дикторская оговорка обозначает не место, где проходит реальная линия фронта, а всего лишь дорожное направление.

Потом за ослепительными фарами возник вагонный силуэт, закрипели тормоза, и долгожданный поезд наконец- то остановился у платформы.

– Скорее, скорее! – свесившись из тамбура, замахала рукой проводница, и увечные спутники заковыляли к вагону, кое-как вскарабкались по чугунной лестнице и позволили себе перевести дух, когда оказались в тесном купейном коридоре. – Дальше, – плотная, средних лет, усталая проводница повела пассажиров на места. – У каждого столба стоим, всех пропускаем. Военный график...

На ее мертвенно бледное, сонное лицо падал свет вагонных лампочек. Ямочки на дряблых щеках не придавали ей веселости. Справа во рту, когда она улыбнулась, изучая пополнение наличного состава, чернела щель на месте отсутствующего зуба.

– До Москвы?.. Что немцы делают, сволочи... Договаривались с ними, ручки жали... фашисты – одно слово... – Она крупной рукой, испачканной в саже, смахнула на бок волосы, которые прилипли ко лбу. – Выдался у меня рейс... никогда такого не было.

Она довела их до купе, где на двух занятых местах кто-то спал, и в глаза бросались продолговатые холмики под суконными одеялами, ноги в носках, чье-то большое анемичное ухо. Опасение, что сотрясение мозга, осложненное вестибулярными помехами, помешает Сене залезть на верхнюю полку и что высоты придется осваивать мученику хирургии, у которого при этой мысли заныл шов, рассеялось, когда Петр обнаружил, что подопечный ловко, словно всю жизнь лазал по полкам, оказался наверху и, немного пошуршав, затих. Поводырь тоже не затягивал сон – он не возился с бельем, а раскатал по полке пыльный матрас, лег и накрылся сыроватым одеялом. Петр устал, и ему не мешали ни спертый воздух, ни чье-то любопытство с противоположной полки, где, как он понял, его неизвестный сосед перестал посапывать, как дитя, а затаил дыхание, напряг невидимые мускулы и приоткрыл глаза. Петру было все равно – он, уверенный, что наконец-то встал на прямую дорогу до дома, с которой его не собьет уже ничто, расслабился и погрузился в причудливый, мрачный, все еще воспаленный и отравленный лихорадкой сон. В этом сне на него стремительно налетали протяжные гудки встречных составов, барабанили пулеметными очередями колеса, скрежетали шарниры вагонных стыков, и только под утро Петра словно накрыло могильной плитой, из-под которой он вынырнул утром, при ослепительном, бьющим в вагонные окна солнце, посреди огромной, без конца и без края, станции. Несколько часов на рельсах перенесли его из девственной глуши на обитаемую планету. За окном галдели оживленные голоса, поезд стоял.

– Зинаида Осиповна! – весело крикнул из коридора бодрый басок. – Долго стоим?

– Долго, Миша, – отозвалась проводница. – Можем сутки.

– Ох, елки ж!.. А если жрать нечего?..

Где-то плакал ребенок, слышались шаги. Петр поднялся и обнаружил на соседней койке безмолвных, сидящих рядом соседей, которые не сводили глаз с незнакомца. Бледные, худые, с одинаково полупрозрачными лицами, мужчина и женщина лет сорока изучали нового пассажира с сомнением, точно перед ними был не человек, а непонятный, непредсказуемый зверь и они не знали, как с ним обходиться. От их робкой боязни Петр поначалу так потерялся, что даже забыл проверить, на месте ли его подопечный, но тот сам завозился вверху на полке.

Несмелых соседей звали Мария Тихоновна и Прохор Николаевич. После знакомства они, освобождая место для нужд общежития, убрали со столика пакеты с сухарями и печеньем, после чего ненатурально замолчали, вызвав нарочитый дискомфорт, от которого у Петра по спине пошли мурашки. Неловкость усугублялась тем, что безгласные супруги явно не были конфузливими буками, которые не знали, что говорить и как вести дорожный, ни к чему не обязывающий разговор. Это были интеллигентные горожане, которые по какой-то причине умышленно избегали даже поверхностного контакта с посторонними. Когда безмолвие сделалось особенно неестественным, Прохор Николаевич кашлянул и деликатно выговорил несколько вопросов так скованно, точно боялся самого себя.

– Значит, вы, Петр Венедиктович, ученый... – Узнав профессию соседа по купе, он повеселел, и Мария Тихоновна вздохнула, словно у нее камень с души свалился. – А по какой специальности, позвольте узнать? Сейсмография?... – Он скупно улыбнулся. – Видите, как получается: вы изучаете естественные причины трясения земли, а получают такие... рукотворные.

Мария Тихоновна пресекла мужнино красноречие, еле заметно ткнув супруга в бок тощим локтем. На ее призрачном лице проступил ужас. Прохор Николаевич осекся и замолк.

Находиться в тесной клетке этих стен в неблагоприятной, почти враждебной обстановке было неприятно. Петр попытался устроиться на койке и продолжить диалог с дневником, но пара с таким ужасом наблюдала за его мучениями над затупленным химическим карандашом, что он бросил это занятие и позвал Сеню, которого не хотел оставлять одного, на выход. Добрая половина вагона уже разбежалась по станции и, проходя мимо открытых дверей купе, Петр видел лишь редких, особо озабоченных куркулей, которые сторожили свои бесценные тюки и чемоданы. Измученная, кое-как прикорнувшая в закутке Зинаида Осиповна подтвердила, что поезд застрял на станции и что основные пути освобождают, чтобы прошли воинские эшелоны.

Спутники отправились к вокзалу. Петр меньше месяца назад проезжал эту станцию с запада на восток, и тогда огромная, заполненная товарняками и пассажирскими отстойниками, разлинованная рельсовыми путями территория поразила его точным, размеренным ходом сложного, совершенного и продуманного механизма. Сейчас вокзальный пульс бился в такт мятежного камертона, сорвавшегося с ритма. Озабоченные люди сновали вокруг бестолково: кто-то бежал, кто-то метался из стороны в сторону, а кто-то, напротив, застыл как бревно. Появилось множество военных, и вдоль вокзала ходили патрули, хотя вид у них был несобранный, словно их вчера одели в форму и они не знали, что им делать.

– Если долго стоим, в магазин бы зайти, – пробубнил Сеня. – Тут есть магазины? Я бы ботинки купил... раз все равно не едем.

– Зачем тебе ботинки? – удивился Петр, которого эпатировало это прозаическое желание, высказанное в столь патетический момент.

– Думаете, украдут? – забеспокоился Сеня, широко раскрыв светлые, неподвижные оловянные глаза. – А я обувать до Москвы не буду, под подушку заныкаю.

Петр пожал плечами.

– Может, не украдут... но...

Ему не хотелось говорить, что городские ботинки, о которых мальчик, вероятно, мечтал в своей деревне, вряд ли пригодятся ему в психиатрической больнице.

– Неудобно в сапогах, – объяснил Сеня. – Все-таки в Москву еду... к важным людям...

Он почему-то проглотил окончание фразы, а Петр возразил ему со вздохом, представив цинизм и хладнокровие медиков, изо дня в день врачующих души:

– Важные люди тебя простят. Они всякое видели.

Когда они подошли к вокзальному зданию, выстроенному с соблюдением всех правил губернской архитектуры, Петр заметил, что взволнованная толпа, которая только что передвигалась без порядка, поляризовалась и устремилась в единственном направлении – к стене, где красовался закрепленный под стрехой репродуктор. Петр невольно подался вместе со всеми и задрал голову к черному конусу диффузора. Рядом с ним, облизывая пересохшие губы, замер мужчина в рабочей тужурке, с темными рябинами, покрывавшими его загорелое лицо. Подошла еще женщина, поправляя на ходу шпильки, торчавшие из высокой прически, – остановилась, развалила губы в плаксивой гримасе. На сложносоставной, кипящей народом площади замерло время, и тотальный клинч нарушали только серые, нахмуренные, с желтоватой табачной подкладкой облака, которые, клубясь, проплывали над ребристым железом крыши. Все люди, разбитые внезапным параличом, слушали новости насупленно, с натугой, пытаясь выковырять правдивую основу из начетнических фраз, которые замогильным голосом произносил диктор и которые, разлетаясь по станции, эхом отражались от цистерн и теплушек. Петр, сугубо гражданский и далекий от официоза человек, тоже гадал со всеми, какая подоплека скрывается за обтекаемым фасадом казенных формулировок. Ему только опять резануло слух, что служащий государственным рупором голос с навязчивым напором упомянул о минском направлении.

Когда репродуктор умолк, а толпа ожила и стала разбредаться кто куда, спохватившийся Петр обнаружил, что его подопечный исчез. Обежав, насколько хватало послеоперационной прыти, периметр вокзала, он заметил, что в углу площади зачем-то собираются люди, и поспешил к зевакам, стоящим у газона. К своему ужасу он увидел, что Сеня распластался ничком прямо на земле, раскинув в стороны руки, что несколько досужих граждан лениво судили о том, что происходит, а постовой милиционер подошел к лежащему и как-то недобро поинтересовался:

– Вам плохо, гражданин? Встаем, здесь лежать не полагается.

Петр подоспел, растолкал зевак и ужаснулся, предчувствуя, как разойдутся его много-страдальные швы, пока он будет поднимать с земли своего сбрендившего и довольно тяжелого подопечного, но Сеня поднялся сам. Он преспокойно отряхивал штаны и рубаху, предоставив опекуну переговоры с представителем власти. Страж порядка оказался милостив и не потребовал даже бумаги, которые непредусмотрительный Петр забыл в мешке под вагонной полкой. Выговорив ротозею за халатность, милиционер отправился дальше, а Петр повел Сеню, который не удостоил милиционера взглядом, от греха подальше – на вокзал.

– Что ты за цирк устроил? – недовольно спросил Петр и получил степенное объяснение:

– Да чудно! Едешь – как не по земле едешь. Так что, до Москвы?..

Петр пожал плечами. Спутники сели на скамейку в зале ожидания, где Петр, оглядываясь по сторонам, изучал обстановку. Спокойный, как слон, Сеня в нелепой пестрой шапочке смотрелся среди городской, взбудораженной военными обстоятельствами публики чересчур дико. Петр видел, что на подопечного обращено много любопытных и даже пытливых глаз, но сам объект внимания был бесстрастен. Потом Петру показалось, что флегматичный Сеня все же чем-то заинтересовался. Проследив его взгляд, Петр разглядел, что в соседнем ряду горько плачет женщина в нарядном крепдешине, а рядом в отчаянии кусает губы молоденькая девушка – в ситцевом платьице и в пиджаке не по размеру, с торчащими в стороны тугими косичками. Что-то в облике плачущей женщины заставило Петра, сочувственно созерцавшего на станции уже нескольких матерей и жен, которые убивались на разные лады, напрячься, потому что те, кто расставались, рыдали опустошенно и абстрактно – в небо, в пустоту, в слух всех безгласных богов мира – а женщину в крепдешине, чье растерянное лицо плохо вязалось с величественной осанкой, удручала конкретная неприятность. Качая головой, она порывисто выговаривала:

– Что же делать? Что делать, что делать? Как же мы...

Подмеченная странность заставила Петра вмешаться, и он узнал, что женщина – Ксения Дмитриевна – везла внучку Тому в Читу, к дочери, в какую-то забайкальскую воинскую часть, из которой, как она предполагала, ее зятя уже или услали на фронт, или вот-вот должны были услать. Бабушка с внучкой двигались навстречу людской и грузовой волне, разом устремившейся на запад, и уже несколько раз пересеживались с одного поезда на другой, когда Ксения Дмитриевна обнаружила, что у нее вытащили кошелек со всеми деньгами, и теперь она, находившаяся в совершенной панике, не понимала, как ей быть и что делать.

Денег у него не было, но пару лет назад его познакомили с начальником станции, когда они с очередной группой совершали ежегодный путь на Байкал и когда его приятель-аспирант на остановке вылез поздороваться с дальним родственником, занимавшим ответственный пост. Вызванный из памяти облик пожилого, хмурого, неизменно спокойного Захара Игнатьевича давал Петру надежду, что тот если и не вспомнит шапочного знакомого, то, во всяком случае, поспособствует Ксении Дмитриевне в ее дорожной неприятности, с которой начальник станции, вероятно, сталкивался каждый день, если не чаще.

– Постараюсь договориться, чтобы вас посадили в поезд, – пообещал он и отправился разыскивать Захара Игнатьевича, напоследок поморщившись на Сеню, которого опасался оставлять на скамейке рядом с хлопотливой Томой.

Ему сначала показалось, что мальчик выбрал в толпе симпатичную девушку, но на деле Сеня не заинтересовался ни Томой, ни обнадеженной Ксенией Дмитриевной, которая робко промокала слезы платочком. Будущий пациент профессора Чижова упрямо, пристально изучал мельтешащих в вокзале людей, а на юную и милую, как грациозный котенок, девушку, казалось, не обращал внимания.

Начальника станции не было на месте, и Петр понимал, что искать его на бесчисленных путях, среди эшелонов и составов бесполезно. Он немного потолкался в узком коридорчике перед дверью, которую штурмовали, наткнувшись на непрошеного посетителя, взвинченные запаркой люди, и Петр, понимая, что Захар Игнатьевич где-то здесь и что он никуда не денется, вернулся в зал ожидания.

Измученная Ксения Дмитриевна отряхивала подол узорчатого платья и сморкалась в свой батистовый платочек, а неутомимый Сеня исчез, но Петр уже занялся попавшими в беду женщинами и смирился с тем, что ему придется отыскивать Сеню на очередном газоне и отбивать мальчика у бдительного милиционера.

– Не беспокойтесь, начальник скоро подойдет, – утешил он Ксению Дмитриевну, которая не сводила с него жалобных, опухших глаз, но тут неверной блуждающей походкой возник откуда-то Сеня.

– Не ваше? – скучно спросил он, вынимая маленький тугой кошелечек с потертой металлической рамкой.

Лицо Ксении Дмитриевны вспыхнуло, и женщина пораженно воскликнула:

– Он! Милый мой, как же... где?..

– За урной лежал, – выговорил Сеня. – Обронили, наверное.

Петру почудилось, что Сеня, прежде чем подать находку Ксении Дмитриевне, стер с черной клеенки липкое пятно, отчего его хилая ручка окрасилась красными пятнами. Но Ксению Дмитриевну не занимали подробности. Она трясущимися пальцами раскрыла защелку, обнаружив тугую пачку купюр.

Счастье бабушки и внучки, которые набросились с объятиями на спасителя, знаменовало такой счастливый поворот событий, что Петру померещилось в гладком исходе нечто неправдоподобное. Поэтому он, подождав, когда спадут восторги и благодарности, тихо спросил у Сени:

– А если без дураков, как?

Но Сеня, о которого признательность разбивалась, как валы о бездушный камень, только поправил запыленную, со сбившимся набок воротом рубаху и бросил опекуну загадочное объяснение:

– Так война же... сейчас можно, другие правила. – Он произнес эти слова так безжизненно, что Петра передернуло.

Среди живой, конвульсивной, драматичной толчеи вокзала с ее яркими страстями невнятное Сенино бормотание отдавало каким-то патологическим, смертельным холодом.

Сеня словно не замечал, что Тома не сводит с него восхищенного взгляда. Когда утихло ликование, обрадованные женщины взяли спасителей, к которым причисляли и Петра, под опеку. Привыкшая к походам теща военного передвижника завоевала в зале ожидания удобный уголок, расстелила на подоконнике салфетку, выложила припасы – остатки жареной курицы, мятый зеленый лук, бутерброды с салом – и принялась потчевать этой снедью Петра и Сеню, которые сразу стали для нее близкими друзьями.

– Хорошо бы нам уехать до вечера, – мечтала она, разворачивая трогательную бумажку с солью, заготовленную для дорожной трапезы умелой хозяйкой, которая не пропускала в бивуачном быту ни одной мелочи, способной испортить кочевку. – Может, и вас успеем проводить.

– Нам нельзя ждать до вечера, – серьезно заверил ее Сеня, набивая рот заветренным, но вкусным угощением. – Скорей в Москву надо.

– Так-то оно так... что ж делать. Горе. Вон, эшелон военный отправляют – молоденькие совсем... А про наших как подумаю – сердце сжимается: я же, Петя, знаю их всех – каждого.

И, обихаживая случайных знакомцев, она так искренне заботилась о них и так прочувствованно вздыхала над общей людской бедой, что растроганный Петр на минуту окунулся в семейную обстановку, ощутив себя посреди шального вокзала в уюте и домашней устроенности доброго семейного уклада.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.